

Дмитрий ВОДЕННИКОВ

Черновик

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММVI



х х х

Музыкает голос и грубеет тело,
но все по-прежнему во мне — свежо и уютно.
Я познанию себя — привычно, между делом,
легко и убедительно, как ребенка.

А ранней осенью — шумит заветает, как и нояль,
мягше дуетами и рывками кидаясь,
но зрелее с опытом — как вползник и дождикольник,
все меж собой никак не сговаривая.

Но — солнце — траву — вылезает в узор
и талые в зёрнышке, как дельте, отбрасывая,
когда из ванной вылезешь в коридор
Ты — с мокрой головой, как пишущий.

... Чем ближе осень — ярче похорошеет,
чем дальше нояль — тем еще узнатей,
и я стою в углу, как второзвучие,
и свет свой ставлю — как стержневые.

Мне нравится, что шумит со мной — грубо
и так насквозь, подробно и неостанавливаясь.
Я познанию своим привычным жестом
легко и убедительно — прощу со лба.

Все же словно раз уже — в оговоренном аду —
я прижимаю к лицу свои мысленные руки
и топчусь, стою и иду к концу,
а шел, как привычно, к какой-то новой муке.

Ну так трепетные сне — по утркам, без огня,
звезд и слыше, откинув одеяло, —
нам только шуметь и зреться предметой,
как раньше смерть и детское предостережение.

Дмитрий Воденников

Дмитрий ВОДЕННИКОВ

Черновик

КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММVI

В 62
ББК 84. Р7

Марка издательства работы
С. Семенова

ISBN 5-89803-147-2

© Д. Воденников, 2006

...Окопаться бы здесь — безымянной солдатской лопатой
до ближайшей весны, — чтоб на месяцев пять или шесть
на морозе звенеть полуграмотным Пастернаком,
а на Красную Горку —
цветком полоумным зацвести.

ЧЕРНОВИК

потому что стихи не растут как приличные дети,
а прорастают ночью, между ног,
и только раз рождаются в столетье
поэт-дурак, поэт-отец, поэт-цветок

1

Да, вот именно так (а никак по-другому)
ушла, расплевавшись со всеми, моя затяжная весна,
и пришла — наконец-то — моя долгожданная зрелость.
Только что ж ты так билось вчера, моё сытое хитрое сердце,
только что ж ты так билось, как будто свихнулось с ума?

...Я стою на апрельской горе — в крепкосшитом
военном пальто,
у меня есть четыре жизни (в запасе), у меня есть письмо
от Оли:
*«Здравствуй, — пишешь мне ты, — я серьёзно больна,
И у меня нет жизни в запасе. Завтра у меня
химиотерапия.*

*Однако я постараюсь выжить, я буду бороться.
Ты же — постарайся быть счастливым.
Живи, по возможности радостно.
И ничего не бойся». — Ну вот я и стараюсь.*

2

Ну так вот и *старайся* — вспотевший, воскресший,
больной —
записать эту линию жизни на рваной бумаге
(электронной, древесной, зелёной, небесной, любой),
и за это я буду тебе — как и все — благодарен.

Сколько счастья вокруг, сколько сильных людей и зверей! —
...вот приходит Антон Очиров, вот стрекочет Кирилл
Медведев,
а вот человек (пригревшийся на раскалённом камне),
несколько лет нёсший возле меня свою добровольную
гауптвахту,
с переломанной в детстве спиной,
сам похожий на солнечную саламандру,
на моё неизменное: «бедный мой мальчик»
отвечавший —
«нет, я счастливый»...

3

Эти люди стоят у меня в голове,
кто по пояс в земле, кто по плечи в рыжей траве,
кто по маковку в смерти, кто в победе своей — без следа.
Эти люди не скоро оставят меня навсегда.

Ну а тех, кто профукал свою основную житейскую битву,
кто остался в Израиле, в Латвии, в Польше,
в полях под Москвой,
мы их тоже возьмём — как расстрелянную голубику
на ладонях, на солнечных брюках и юбках — с собой.

4

...Мы стоим на апрельской горе — в крепкосшитых
дурацких пальто,
Оля, Настя и Рома, и Петя и Саша, и хрен знает кто:
с ноутбуком, с мобильным, в берёзовой роще,
небесным столбом,
с запрокинутым к небу прозрачным любимым лицом
(потому что все люди — с любимыми лицами —
в небо столбы).
Я вас всех научу — говорить с воробьиной горы.

Так что постарайтесь жить — по возможности — радостно,
будьте, пожалуйста, счастливы и ничего не бойтесь
(кроме унижения, дряхлости и собачьей смерти,
но и этого *тоже* не бойтесь).

7

Потому что всех тех, кто не выдержал главную битву,
кто остался в Париже, в больнице, в землянке, в стихах
под Москвой,
всё равно соберут, как рассыпанную землянику,
а потом унесут — на зелёных ладонях — домой.

апрель 2006

ЕДИНСТВЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 2005 ГОДА

О, эта мука детских фотографий
людей, которых мы любили или любим
(все эти уши, ёжики и лбы),
она не в том, что все они — жемчужны,
не в том она, что мы им — не нужны,

а в том, что мы про них уже всё знаем,
а им не видно — собственной судьбы.

Ну вот я и вернулся сюда — в тридесатую эту весну,
в тридцатисемилетнюю пыль, в лопухие столбики
счастья...

— Я хотел рассказать тебе *там*,
а теперь расскажу тебе *тут*,
про двух мальчиков, двух медвежат, про двух девочек,
Рому и Настю...

Всех прекрасных, сопливых, больных, безработных,
нездешних, не наших,
я собрал на апрельском, на майском своём корабле —
бедный мальчик в крапиве (с мечом деревянным)
+ Света, и Саша,
бурундук сумасшедший и девочка на колесе...

Только не было сил у меня быть огромной
дощатой скворешней
и тянуть соловьиный кадык в лопушнях золотых неудач...
— Это кто ж, интересно, у нас
тут такой неземной и нездешний?
— Это я, это я тут у вас — весь такой неземной
и нездешний,
потетешкай меня, послуни, ткни мне в пузо цветной
карандаш.

Потому что я тоже смотрю из своей лопухой весны
на ужасную взрослую жизнь — и никак не могу
наглядеться:
сколько разных, прекрасных, родных —
я когда-то любил и забыл,
в 21-м столетье своём, в ненасытном твоём королевстве.

...Бурундук малахольный помрёт, мы схороним его на углу
на медвежьем июньском углу, где сцепились малина
с крапивой...

— Я вернулся сюда посмотреть
(потому что потом не смогу)
на корабль, на двух медвежат, на двух мальчиков —
Олю и Диму.



Мужает голос и грубеет тело,
но всё по-прежнему во мне — свежо и звонко.
Я подниму себя — привычно, между делом,
легко и убеждённо, как ребёнка.

А ранней осенью — жизнь зацветёт, как школа,
начнёт букетами и ранцами кидаться,
но зрелость с юностью — как школьник и дошкольник,
всё меж собой никак не сговорятся.

Но — солнце — правду — выскажет в упор
и также в зеркале, как зелень, отразится,
когда из ванны выйдешь в коридор
ты — с мокрой головою, как лисица.

...Чем ближе осень — ярче подоконник,
чем дальше школа — тем ещё ужасней
и я сижу в углу, как второгодник,
и свет стоит столбом — как старшекласник.

Мне *нравится*, что жизнь со мной — груба
и так насмешлива, подробна и невместна:
я подниму своим привычным жестом
легко и убеждённо — прядь со лба.

Ведь сколько раз уже — в очередном аду —
я прижимал к лицу свои мужские руки
и полагал, что я иду — к концу,
а шёл, как правило, к какой-то новой муке.

Ну так простимся же — по-царски, без обид,
здесь и сейчас, откинув одеяло, —
нам только жизнь и зрелость — предстоит,
как раньше смерть и детство предстояло.



Я был — в ослепительных джинсах,
в густой ярко-синей рубашке,
было мне — тридцать три года,
и сердце моё
разрывалось — от счастья.

1

...Мама! и как так случилось,
что я — написавший свои знаменитые книги:
о смерти, о страхе, о прахе (о пыли), о комплексе жертвы —
умудрился
всё ж таки стать
таким совершенно здоровым,
таким невозможно счастливым
и таким — абсолютно — бессмертным?

А вот так и случилось! — что, глядя однажды
в ваши милые-милые лица,
с плохо скрываемой злобой, отчаяньем и раздраженьем,
я вдруг вспомнил,
как нынешний мой арт-директор,
а раньше — флористка,
тоже, видимо, глядя — в не менее! — милые лица
своих постоянных клиентов,
вдруг сказала,
сбивая с колен непокорную, грубую землю:
— *Извините меня,*
но японского сада — НЕ БУДЕТ.

2

Вот и *вы* извините меня, ибо мне — не хватило любви,
этой грубой пахучей любви,

а вот вам, как ни странно, — хватило!
...о, как долго, как долго —
в сиреневых сумерках — тридцать четвёртой весны
голубая лисица — в моих переулках — бродила.

А теперь всё иначе — я сегодня проснулся от счастья,
с сильно бьющимся сердцем — и глядя
в апрельский рассвет, в загустевшую зелень,
вдруг засмеялся,
потому что опять-таки вспомнил:
и своё прошлогоднее пьяное зимнее буйство,
и себя самого — в окруженье каких-то подонков,
и мужские, надёжные руки подоспевшей охраны,
но главное —
голос,
ЖИВОЙ ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ голос,
с таким неподдельным участием спросивший меня:
«Ну что, Дима, уже не можете — без скандала?»

Ну почему же — МОГУ.

3

Ибо — как сказала бы Дебби Джилински,
(ещё один — буйнопомешанный ангел
из любимого мной голливудского фильма),
превращаясь у всех на глазах — в кучку пепла
и в ворох кредиток:

*«Я НИКОМУ НЕ ХОТЕЛА ВРЕДА,
МНЕ — НЕ ПРАВИЛОСЬ! —
ДЕЛАТЬ КОМУ-ЛИБО БОЛЬНО.
НО ВРЕМЕНАМИ ЛЮДИ
ПРОСТО ОТКАЗЫВАЛИСЬ СЛУШАТЬ, ЧТО ИМ
ГОВОРЯТ,
И ТОГДА Я ВЫНУЖДЕНА БЫЛА
ПРИМЕНЯТЬ УБЕЖДЕНИЕ, УГРОЗЫ
...И СЛЕЗОТОЧИВЫЕ СРЕДСТВА»*

4

Так что ты не сердись, — а приди на меня поглазеть
через год или два (лучше десять!) — и то, что осталось,
будет так же плясать для тебя,
будет так же стесняться и петь...

Что ж поделаться, ну нравится мне — эта первая мелкая
взвесь,
этот быстрый апрельский пожар,
эта нежно-салатная жалость!

5

...И за это за всё —
за твою несказанную щедрость,
за твою беспощадную трезвость,
за минутную слабость твою —

будет, будет тебе
твой обещанный праздник:
этот буйно помешанный прах
легендарная пыль
черемуха счастья
бесстыдно раскрытая жизнь
ВСЬ ЭТОТ ГРУБЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ
БЕССМЕРТНЫЙ ПИАР

вечный воденников

ШИПОВНИК

И мальчиком, и дядечкой — нельзя:
кусаю губы, потому что знаю,
что — вот она! — не первая весна
и не последняя... а так, очередная...

Я — сбрасываю кожу, как змея,
я — как крапива, прожигаю платье,
но то, что *щас* шипит в твоих объятьях,
кричит и жжется — разве это я?

Нет, в том шиповнике, что цвёл до издыханья,
до черноты, до угля — у забора
я до сих пор стою как тот невзрачный мальчик
за пять минут — до счастья и позора.

Ну что ж поделать, если не совпавший
ни там, ни здесь — со мной, по крайней мере —
ты пах моей щекой, моей мужской рубашкой
ещё до всех моих стихотворений.

— За всё про всё одна лишь просьба есть:
за то, что мы не *были и не будем* —
люби меня таким, каким я есть,
таким-каким-я-нет — меня другие любят.

...Я не надеюсь, ни с одним из вас
ни там, ни здесь совпасть, — но в это лето
мне кажется, что кто-то любит нас,
имперских, взрослых, солнечных, раздетых.

Из душного цветочного огня
он нас прижмёт к себе, а мы — ему ответим...
Ещё я знаю, что на целом свете,
уже лет десять, больше нет тебя.



Только что ж мне так тошно
в моём ослепительном сне —
по колено в песке, на участке из солнца и пыли —
знать, что всех схоронили, устроили в этой земле
(и тебя в том числе), а меня почему-то забыли.

...ты мне приснилась постаревшей,
какой-то жёлтой, неуверенной в себе,
и всё, *что есть во мне мужского*, содрогнулось
от жалости и нелюбви к тебе.

Однако всё это — значенья не имело,
по крайней мере,
по сравненью с тем — как ты
с каким-то детским вызовом сидела —
на самой краешке куриной слепоты...

Но я *не выдержал* — свою мужскую муку,
и вот тогда — из солнечного сна —
ты — старой девочкой, безвременной старухой,
ты так внимательно взглянула — на меня.

Но всё сама отлично понимая,
ты поперхнулась собственной судьбой —
и засмеялась — вечно молодая —
над нашей пошлостью и трусостью мужской.

...Мой сон прошёл, но я не просыпался,
и снилось мне, что я плыву во сне,
как и положено мужчине, содрогаясь
от отвращенья — к самому себе.

Надеюсь, верю, знаю — непременно
настанет день, когда при свете дня,

с таким же ласковым, бесстыжим сожаленьем
один из вас — посмотрит *на меня*

и станет мне так ясно и понятно,
что всё, что есть, — не стыд, не пыль, не прах,
а только — розовые голубые пятна
в моих смеющихся — *ещё живых* — глазах.

ШИПОВНИК — РАСПАДАЮЩИЙСЯ НА ЧАСТИ

Всё сбудется — не завтра, не сегодня,
не в этой жизни и не после смерти...
Но боже, как горит твоя изнанка,
что мне всё кажется, что мы с тобой бессмертны.

Как тот — другой — трепещущий у школы,
измятый весь, с пурпурной головой
(да не измятый ты — лиловый ты, лиловый,
вульгарный, страшный,
чёрный, чёрный — мой!).

А был ещё один — с чуть розоватой кожей,
когда я тоже выбился из сил
и только повторял: о боже, боже, боже...
*Мне кажется, что был ещё — четвёртый,
но я его забыл.*

Да нет же, вот и ты —
меня в конце предавший
(ну пусть на площади, ну пусть перед народом),
зато я помню, как ты сладко пахнешь —
то кашей гречневой, то молоком, то мёдом.

— Я, столько лет *к вам всем* протягивавший руки,
как будто требовавший не любви, а денег, —
да неужели я не вынесу разлуки,
особенно когда она — навеки.

За то, что вы — своей мужской работой,
меня с ума сводили ежедневно,
за то, что пахли вы — мужским и крепким потом,
мы с вами встретимся — (все сразу!) *непрерывно*.

...Но что-то мне сегодня подсказало:
не в этот раз и не на этом свете.
Нет, мой бесценный, это *ты* — бессмертен,
а я в тебе — *умру*, тридцатилетним.

За вас за всех —
трепещущих у школы,
сгоревший весь, с изнанкою лица...
— Да не сгоревший я, — лиловый я, лиловый,
пурпурный, розовый, багровый — до конца...



Кс. Р. и Е. Р.

В тот год, когда мы жили на земле
(и никогда об этом не жалели),
на чёрной, круглой, *выспренной* — в апреле
ты почему-то думал обо мне.

Как раз мать-мачеха так дымно зацвела,
и в длинных сумерках я вышел из машины
(она была чужая, но была!)...
...И в этот год, и в этот синий час —
(как водится со мной: в последний раз)
мне снова захотелось быть — любимым.

Но я растёр на пыльные ладони
весь этот первый, мокрый, лживый цвет:
того, что надо мне, — того на свете нет,
но я хочу, чтоб ты меня — запомнил...

— Ведь это я, я десять раз на дню,
катавший пальцами, как мякиш или глину,
одну большую мысль, что я тебя люблю,
(хоть эта мысль мне — невыносима),
стою сейчас — в *куриной слепоте*
(я, понимавший всё так медленно, но ясно)
в протёртых джинсах,
не в своём уме.

...в тот год, когда мы жили на земле —
на этой подлой, подлой, но — прекрасной.

апрель 2004

ШИПОВНИК FOREVER

В первый раз я увидел тебя — в шесть,
второй раз — когда мне стукнуло 35,
в третий раз я увижу тебя — перед смертью,
а больше я тебя уже никогда не увижу.

1

За то, что ты — не абы как, а трижды —
вдруг *вспыхнувший* в моей июньской тьме,
я всё равно тебя — когда-нибудь увижу:
в грубу, в России, в дочери, во сне.

2

Я тебя обожаю... За то, что — имперский, тяжёлый,
засучив рукава, так насмешливо, так безнадежно
ты смотрел на меня
(слишком *красный* и слишком *лиловый*) —
ты за это за всё
мне приснился вчера — белоснежным.

3

Дорогой мой, желанный, единственный, счастье моё! —
всё, что я обещал, — всё сбылось (*только всё как-то
слиплось, слежалось...*).

...Но зато — о, как долго томилось
мужское твоё молоко,
как смешно и по-детски оно
на твои рукава — проливалось.

4

Я искал тебя — всю свою жизнь на таком подмосковном
ветру,
я писал тебе длинные письма, но всё бесполезно.
— *Я увидел тебя в первый раз — в одна тыща*
затёртом году,
а теперь ты меня положил
на лопатки — на тёплую землю.

5

Так что это — я *ненавижу* тебя...
И за весь мой истерзанный вид,
за шиповник, несбывшийся мой, и за весь твой volkswagen
позорный...
(...дорогой мой,
бесценный,
родной —
у тебя *ничего* не болит?)
— У меня *ничего не болит*,
я хотел бы — в четвёртый, в четвёртый!..

ЧЕТВЁРТОЕ ДЫХАНИЕ

Но что-то, видно, есть во мне такое,
что я никак смириться не могу,
что больше нету никого со мною —
ни соболя, ни соловья в снегу.

А то, что мне объятий не хватало,
так это, деточка, *всё как бы да кабы*. —
Зато хватило — голоса, металла,
таблеток, алкоголя, мужества, судьбы...

Зато хватило *мне* — метафор и деталей,
ума хватило — всё перебелить:
что ни строфа — желание ударить,
что ни абзац — то просьба пристрелить.

Несёшь себя — как вывих, как припадок
(два соболя + соловей — внутри),
несёшь себя — *как соловья* — в подарок! —
глядишь, уже *обратно* принесли.

Я уговаривал: давай ещё, подтянем,
ну что же ты? — ведь Ты ж меня любил! —
я говорил: царапается, тянет...
(Я всё это *напрасно* говорил).

Не бойся, собель, — я тебя не выдам,
я больше никого не выдаю.
Но ты, *ты* должен знать, *где* есть отдельный выход,
в густые заросли, в высокую траву.

Как *быстро* ты — скребёшься, роешь, лаешь,
как будто чуешь *пулю* — между глаз!
Не рой так быстро (ты же мой товарищ),
но, видно, нет *товарищей* у нас.

А если *нет* — за синею горою
найдёшь себе — *другую* западню!
Беги отсюда, я тебя — не скрою,
я сам тебя, как выкуп, выдаю...

Они убьют тебя, они тебя — не знают
(как облаком — *накрыв твою семью*),
здесь травят — грамотно, здесь — *правильно* стреляют
(я, кстати, многим *здрасте* говорю).

О, как же он бежал,
с беременной женою,
с летящим соловьём — по Млечному Пути!..
Не бойся, мальчик, — я тебя прикрою.
Я пошутил (...чтоб ты — *успел* — уйти...).

...Что ни строка — то приступ и припадок,
что ни рука — то выстрел и отстрел.
Ты извини, что скромный мой подарок,
от крови внутренней набряк и отсырел.

Да, были безобразны эти роды,
но я горжусь, что сексуальный голос мой
был утешеньем *моего* народа
(а мой народ — за *синею* горой!).
Я счастлив — оттого что в *общей* куче
они прогрызли, как рюкзак, — меня
и что *они* (*не я!*) бессмертны и живучи,
как жизнь, как мужество, как молодость моя.

...Но что же делать мне теперь —
с самим собою
(уже без всех метафор), боже мой,
и что это за облако такое? —
как облако, — нависло — надо мной...

А, что — я, собственно, здесь собираюсь делать
и для чего? — стихи свои читать?

*Стихотворение качнулось, как поэма.
Мне всё равно, как это называть...*

*Четвёртый день (при этом хорошея)
я задыхаюсь, глядя в темноту,
я чувствую испарину на шее, —
не ту я чувствую испарину, не ту!*

*Я спас тебя: мой соловьиный вывих,
соболий выдох, лошадиный храп. —
Теперь я должен знать, где мой — отдельный! — выход,
стоп-кран, трамплин,
огнетушитель, трап.*

*Я должен знать, где мой — прощальный — выход,
высокий купол, ноги — в темноту.
...Стихотворение кончается — как выхлоп.
Я с этим — согласиться — не могу.*

*Стихотворение кончается — как тара,
его нельзя до неприличья длить.
Ты извини, что терпкий мой подарок
осыпался — пока его несли.
...Четвёртого дыханья — не бывает,
но мы узнали это только что.
Ты спрячь меня, как доллары — в кармане
(как неисполненное обещанье),
Ты убери меня, как варежки — в пальто.
А я — прошу — Тебе, что этот воздух хлипкий
раскрылся, будто парашют во рту. —
...Стихотворение кончается — как всхлипы.
Я с этим — тоже — примириться не могу!*

*Я знаю, что мы этого не любим,
но я люблю (точней, любил — тогда):
строфа всегда —
как обращение к людям,
строка всегда — как помощь, как рука!*

...Стихотворение — кончается как *выпад*
(не ты — его, оно — тебя — жуёт),
стихотворение кончается как выбор!
...как человек, как воздух, как живот...

Стихотворение кончается — как счастье
(...как убедительно меня устроил ты,
из мелких роз, из позвонков хрустящих,
из жирных хризантем, молочной кислоты.
Я — бело-красная поленница живая,
там, на морозе, ты сложил — меня,
а мне — без разницы, я пальцы — разжимаю:
хреновая! — поленница Твоя!).

...О, как же он летел,
как падал — постепенно,
как стучался о выступ, воздух, наст!..
И это больше — всех стихотворений,
всех наших жалких — говорений, фраз!

Но я скажу! — *Никто, никто* не падал,
а просто — жизнь, цветная наша жизнь
качнулась на краю — а *никому не надо*,
в буквальном смысле: *даже нам — не надо*.
А ты — *буквально!* — падай — но держись!

Ну что же ты, давай — иначе не исправишь:
вставай, иди, гляди! —
я говорю себе —
я говорю тебе (ведь я же твой товарищ!) —
да нет, не на меня! — на свет гляди, на свет!

Как и обещано — ни поздно и ни рано
(...во что Ты превращаешь
жизнь мою!) —
стихотворение кончается как драма,
творожным облаком
качнувшись — на краю...

...Ещё успеем мы (и Ты ещё *успеешь!*) —
свою цветущую поленницу свалить,
и я *успею* — эту жизнь и шею
как грубую одежду доносить.

Когда же нас — обыщут и разденут,
положат на носилки — понесут,
тогда — узнаем мы,
какие хризантемы —
какими шапками —
в твоём снегу — растут!

Жизнь — нам подсовывает смерть,
как быстрый выход,
смерть — нам подсовывает жизнь,
как свой итог:
стихотворенье — *начинается как выдох,*
стихотворение — *кончается как вздох.*
То как испарина, предсмертная ночная,
а то, как утренняя радость — в первый раз!
Я ничего *про выходы* — не знаю.
Я знаю, что всё — *кончилось!* — сейчас.

.....

А я ещё ловлю себя — как выкуп,
а я *держу себя* — за соловья в снегу.
...А Ты меня несёшь как долгий вдох и выдох, —
(и как не устаёшь — так долго! — *на весу*).

А я он *вот* — твой кожаный подарок,
возьми меня — за горло, за крыло...
Стихотворение —
кончается ударом.
Нет, этой нежностью — кончается оно.

август — октябрь 2001

ЗАПИСЬ ИЗ ПОТАЙНОГО ДНЕВНИКА (21 мая 2006 года)

...так незаметно яблоня зацвела. На углу Охотничьей улицы (с риском выпасть из окна — через слишком густую зелень близстоящих деревьев — её можно раглядеть, а почему-то сам я там уже не хожу, так что даже не вижу, без риска). А в том мае, когда я писал цветущий цикл, она цвела оглушительно.

Этой зимой я подумал, что можно было бы составить круглую книгу. Куда взять только стихи с точно определённым месяцем. И начать с весны, и ею (как будто всего через год, а на самом деле почти через жизнь) и закончить.

Читать это, наверное, было бы маловыносимо да и неинтересно (слишком разные стихи, да из разных лет, подряд, с точной цепочкой: апрель, май, июнь...август, сентябрь, зима).

Но вообще мне эта идея нравится.

Такой спрессованный круглый год, круговорот. Которого в реальности быть не могло (слишком насыщенно). Как на картинах раннего Возрождения, когда художники придумали вписывать в фон цветы, которые никогда бы не могли зацвести вместе.

А тут — рядом положенные: апрель 1995-го, апрель 1999-го, 2002-го, май разного разлива, лето (меньше всего было бы; почему-то его мало у меня), осень: «чем ближе осень, ярче подоконник», декабрь, январь.

Вот тут-то всё бы и стало видно: где что было оглушительным, а где что пролетело мимо. Незаметно. Потому что тут есть какой-то закон: мне вообще иногда кажется, что я просто зачеркиваю, запомнив в стихах, некоторые месяцы и сезонные явления (чтоб никогда потом к ним не вернуться).

Такой дембельский солдатский альбом.

Для другой цели.



Поеду в рай — где розово и сине,
где спит зима — барашком мразным, белым.
О, как алмазные его прелестны рожки.
Но демона горячий зад в перине
мне кажется блином горячим, спелым.
Я съем тебя. Конечно, понарошку.

Греми, греми, громи своей кувалдой,
кузнец-рыжун какой, скажи на милость!
Я не кобыла, я ягненок белый,
вот крылышки мои — они не мнимость.
Как на меня ты, ражий, не орал бы,
я всё равно в морозный рай поеду.

И вот выходит дурочка Феклуша,
она прекрасна, потому что дева.
В другом саду уже краснела Ева,
и ты, конечно, яблочка не кушай.

Но зла зима. И хлад такой собачий,
мраз яблоки мочёные искрами
жжет, словно травит острой, грубой солью.
Но ты, Феклуша, не давай, иначе
тебе всегда углём гореть. Довольно
теперь зардеть — но обрасти очами.



Вот бес подьёмлется любить
и видит: роза расцветает.
Ах, ничего она не знает,
но девушкам не подарить.

Я не хочу к его крылам,
но он меня объёмлет ими,
устами твердыми, сухими
лепечет: ам.

Ребенок-скот, а как могуч,
лопатки и крыла в лиловом
поту, стекающем на хвост.
Но чу! — там кто-то есть над домом,
кто звёздочками весь порос.

Я знаю: мир поделен на
три этажа, и там, где ёлка
дрожит, как девичья заколка,
есть кто-то, кто убьёт тебя.

Из ваты шаг, а как могуч,
лопатки и крыла алмазны,
и хвоей душной и густой
он протыкает мрак ночной,
лиловые палит соблазны.

И слышен вой.
То я горю.



Коль выгнали тебя, ступай отседа, Коль,
но не пылай, как свёкла в огороде.
А то придётся им тебя сожрать.
Но ты мне говорил, что ангел рыженогий,
как лампочка, светящийся такой,
к тебе из темноты повадился летать,
из темноты вылупливаясь вроде.

Проси заступника! Но страшен мне Колян:
как золотом горячим хвост его объёмлет,
и джинсы с треском рвутся пополам.
Он, как Февроний, прикрывает срам.
Ягненком был, а обернулся вепрем.

Как бы огонь его сожрал совсем,
остался только рот слащавой дыркой.
Так вот как ангела зовут — инкуб, —
примерно так я закричал во сне.
Он зад тугой отклячивает пылко,
а ты ему свой подставляешь круп.

Убей его. Ты виноват не тем,
что выгнали тебя из голубиных стен,
а тем, что ты лицо отворотил к стене,
и сам себя не уберёг от муки.
Ах, пастухи твои такие суки —
примерно так я закричал во сне.

Проснулся я. Но умер Коля мой.
Он как телёнок был, безгрешный и безрогий.
Зачем таким беззлобным — умирать?

Но: мгла вдруг протыкается иглой:
знать, тот повадился теперь ко мне летать?
О! жадное и жаркое отродье.

Люблю тебя.
Убью тебя.



Ах, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает.
О! матушка! как моль, мою он скушал шубку,
а нынче вот что, кулинар, удумал:
он мой живот лепной, как пирожок изюмом,
безумьем медленным и сладким набивает
и утрамбовывает пальцем не на шутку.

О матушка! где матушка моя?

Отец мне говорит: Данила, собирайся,
поедем на базар, там льва степного возят,
он жаркий, жадный лев, его глаза сверкают, —
я знаю, папа, как они сверкают, —
я вытрясаю кофту в огороде:
вся кофта съедена, как мех весной у зайца,
я сам как заяц в сладком половодье.

О матушка! где матушка моя?

А ночью слышу я, зовут меня: Данила,
ни меда, ни изюма мне не жалко,
зачем ты льва прогнал и моль убил, Данила? —
так источается густой, горячий голос.
Я отвечаю: мне совсем не жарко,
я пирожок твой с яблочным повидлом.
А утром говорит отец: Пойдем в Макдональдс.

О матушка! где матушка моя?

Намедни сон сошёл: солдат рогатых рота,
и льва свирепого из клетки выпускают,
он приближается рычащими прыжками,
он будто в классики зловецкие играет,

но чудеса! — он, как телёнок, кроток:
он тычется в меня, я пасть его толкаю
смешными, беззащитными руками,
глаза его как жёлтые цветочки,
и ослепляет огненная грива.

Но глухо матушка кричит из мягкой бочки:
Скорей проснись, очнись скорей, Данила.
И я с откусанным мизинцем просыпаюсь.



Ты не забудь меня, козёл рогатый,
а то кусал, терзал, осою жалил
и вдруг исчез, исчадьё басурманье, —
теперь я даже в шашки не играю,
мне только снятся грубые солдаты
да львы пузатые — и я во сне рыжею.
Но кадыки их, твёрдые как камни,
и тёмно-пышные смеющиеся шеи —
я это видел всё уже когда-то.

Засим оставь меня, лукавая Аксинья,
и ты оставь, прекрасная Анисья,
чего ищю в апреле этом синем,
зачем рассыпал я цыплячий бисер,
какую муку алчу я — не знаю.
Мне только снится: я бегу по пашне
и как весенняя лисица лаю.
Ни видик мне не нужен ваш, ни Сникерс,
ни шахматы мне не нужны, ни шашки,
а нужно мне опять тебя увидетьь.

Я говорю: опять тебя увидетьь,
а сам бегу в чумном, охряном мехе —
от смеха у солдат блестят доспехи,
они на жар и жало не в обиде.

Но есть один средь них — глаза как незабудки,
а сам он как дитя в зверином легионе,
и жилка синяя стучит на впалой грудке,
он тоже жаленный (я это сразу понял).

Он смотрит на меня и говорит, что видит:
Тебе к лицу хвост этот длинный, лисий,
но — говорит — зачем сюда летаешь?

Смотрел бы лучше разноцветный видик,
кусал бы лучше многовкусный Сникерс,
играл бы в пашки, шахматы. И, знаешь,
такая мука здесь. Вернись к Анисье.

А мне — он говорит — в апреле этом синем
невмочь без львов и без холмов набухлых,
но и без крыл невмочь, сверкающих как бритвы;
когда-то был я центром этой битвы,
и вдруг меня оставили как куклу.
Теперь я здесь. Я не вернусь к Аксинье.

А ты живи, — сказал и к льву уходит, слабый;
а я лисицею бегу по чёрной пашне,
и синяя во мне стрекошет жилка,
я тоже не вернусь, во мне синее жало,
я вижу: лев его терзает пылко,
лев с ним заводит бешеные пашни,
залить змею поможет только пытка.
Я это всё уже увидел раньше.



Было горло красненьким, голодным, прогорклым,
горькое, как масло, слепое, жадное горло —
жалким и жадным горлышко, как рыбёшка, было,
всех проглотила жадная жалкая рыба.

А ты беги отсюда, вон пошёл, скотина,
хватай за жабы и бросай, как палку.
Но уже не рыба — слышишь, не голос и запах рыбный,
а змея цветущая, голод её жалкий.

Уж и вьется уж, всех сожрал, мокрый:
нет у него теперь ни снохи, ни свекрови, ни свёкра.
Грабли взял — опоздал: не жало и жабы,
а глядит на тебя несчастная морда жабы.

Ам, — сказала жаба и съела тебя. Странно,
почему она плачет жемчужно и с тоски зеленой лука,
почему она плачет жемчужно и ломает зелёные руки:
нет у жабы ни брата, ни мамы,
ни любимого, ни любимой — всех она съела, сука.

Всех она заманила в своё горькое, горькое горло,
в рыбку свою, в свою змеиную трубку
и свистит теперь дудкой, и ей отвечает гулко,
как в органе, то одно, то другое горло.

А твой звук — самый нежный, самый высокий,
лежи без муки, пой высоко — будет
плакать тебе: скоро жаба разбрызжет дольки,
полетят, как ракета, ноги её и руки,
полетят, как ракета, руки её и ноги,
выйдешь ты из неё, выйдут другие люди.

Май, — скажут, — ай; май, куличи да пасхи,
победили мы суку эту, рыбу, змею, жабу,
будем лапками в лапту играть; царские примерять глазки.
А у меня горло болит: жалко жабу.

Взял я мёртвое горло, склизкую трубку в тряпку
(тошнило меня, тряпкою взял, боялся),
вырыл ямку и горло укрыл в грядку:
спи спокойно, недолго уже осталось.
Третий день молчу, глотку покрыла корка,
болит, болит, братец, у братца твоего горло.



Май — под каждым кустиком рай.

*Куст крыжовника без листьев,
в нём человек без штанов.*

Зачем вы убили Савву моего, Савву?
Зачем вы убили Лилю, мою Лилю?
А меня не убили — спрятался я на славу,
зря крыжовника куст бил меня острым бивнем,
зря изодрал, истерзал и сорвал джинсы,
зря кровоточил и зря, как с холерой, бился.
Да и то сказать: не ошибся, серый:
быхъ наводкой я и быхъ холерой.

Так зачем о том забыл ты, йогурт знатный,
стал ревнив, как бык, и всё глядит в оба.
Не волнуйся — вот они горят, эти пятна,
вот она дрожит в листве, шкура-глобус.
Только — ой как — всё внутри изгрызла крыса.
Ты не зря меня сначала бил и тискал.

Куст начинает зарастать листочками.

Слышишь, слышишь ты? как воют рудокопы,
твари-диггеры во мне бегут и лают.
Зря ты запер двери, запер окна.
О! горбатые их роботы — только кокон,
и ползут уже они, снуют, шныряют —
длинные и голые терьеры.
Был ты огненным со мной и был ты верным.
Будь ты проклят.

Ибо голый пленник я теперь в колючих ягодах,
даже ангелы лететь ко мне боятся.

Ты ж ощерился, как зверь, судебный ябеда.
Ну а твари бегают во мне и матерятся,
словно сливу исчервили, морды.
То-то крысы, то-то черти рады.
Был я патокой и был я мёдом.
Буду ядом.

Так убей меня, убей меня, как Савву,
так распни меня, разрежь меня, как Лилю,
ибо слабый я — и вот пылаю язвой,
сам себя изъем, спалю и сам погибну,
ибо ад в душе такой, как сад в заду у негра.
Кто из нас с тобой затлеет первым?

*Человека уже не видно за листьями,
как вдруг куст вспыхивает изнутри.*

Сколько пламени и сколько дыма, дыма!
Твари по тебе бегут, как юнги,
уплывает наш с тобой кораблик.
Кличут — слышу — Савва с Лилей: Дима.
Слышу: куст кричит, его лупцуют сабли,
и скворчат его грибные руки.

Огонь обжмлет куст окончательно.

Голос из пламени:

Господи, за всё тебе спасибо.
Твари нет смиреннее меня.
Ты гори, догорай, моя купина.
Скоро догорю с тобой и я.

РЕПЕЙНИК

*Посвящается
Исааку, Аврааму и Сарре*

1

Вот репейник мятный.
Какое ему дело,
что под ним спит золотое моё тело?
Он, нарядный, мохнатый,
наелся мной и напился,
я лежу под ним в очках и горячих джинсах.
Но, живее меня и меня короче,
он меня не хотел и хотеть не хочет.
 Ты же: почки, почки сбереги мои, мати.
 Я не так, отче,
 не так хотел умирати.

2

Мне репейник — бог. У меня, кроме
этих комьев и кожи, нету ни братца,
ни семьи, ни царевны, ни государства.
Так зачем ты ходишь, зачем ты молишь?
Это царство дешевле и слаще «Марса»,
больше боли.

3

Урожай не богаче тебя, курвы.
Ум поспел мой зелёный, поспел утлый,
и давно ослепли мои глазницы.
Мне отныне не бриться — а только сниться.

Бог мой скудный, осенний, пурпурогубый,
я тебя не хотел и хотеть не буду.

4

И не горб это вовсе, а твой лопушник,
Arctium minus — и жечь не надо,
лучше спрячь мои пятки, весёлые ушки.
Я лежу под ним золотой, твёрдозадый,
как рассада, ушедшая мимо сада, —
мёртвый, душный.

5

Жил да был у меня когда-то барашек,
не было барашка в мире краше,
он играл со мной, звенел кудельками,
только стал я лучше, стал я старше
(говорит, а сам глядит на жирный камень).
Знаешь: ты отдай за меня барашка,
что-то стало мне с барашком этим страшно.

ЭССЕ И ВЫБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Я потому себе так много позволяю,
что по-другому не могу.

Из одного стихотворенья

1

Я помню: в детстве у меня была игра.

Так — гуляя по даче или по пути на озеро — я представлял себе, что некто, кто больше и лучше меня, хочет узнать моё имя, но почему-то боится.

Тогда (вот она, детская логика) — следуя прямо за мной, он начинает перебирать имена: «Миша, Коля, Петя» (я всё как будто не слышу) — и наконец: «Дима». Я оборачиваюсь.

Какие странные порывы внезапных чувств бывают у некоторых субъектов!

2

Мне тоже мыли голову в грозу
(не помню — почему,
но точно: мыли),
а мы с сестрой стояли на полу
и вот — глазами,
бесцветными, цветными,
как два врага, смотрели на себя.

Мы никогда все это не любили.
Но почему все это — помню я?

Другая гроза. Папа, Юлия, я. Папа за руку провожает нас в туалет.

По каким-то интеллектуальным причинам (а ему всего-то 30 лет) он говорит чудовищную вещь: »Это — чтобы сразу всех. Иначе — кому вы нужны».

Юлия руку выдергивает. Я же чувствую какой-то неизъяснимый восторг.

Потом уже, прочитав «Драму на охоте», я понял, что это — пошлость.

Но почему же тогда я чувствовал этот неизъяснимый восторг?

3

Когда мои стихи осыпятся во прах
(а это будет непременно,
и я хочу, чтоб вы об этом знали),
тогда
на гениальных их костях
(вам это тоже неприятно?)
я встану сам,
своими же ногами,
но встану я —
на собственных ногах.

Ну пусть не самых лучших,
да, не первый
(хотя и это, в сущности, неверно) —
но это мой стишок,
мой грех,
мой стыд, мой прах.

4

Я ещё в институте заметил — обычная вещь для Достоевского: роман не начинается, пока не разразился скандал. Герои съезжаются, стягиваются в одну точку, но ничего не происходит.

Но вот появляется ещё один. Искра вспыхивает. Скандал разгорается.

Это похоже на мои стихи. Обязательно надо сказать какую-нибудь гадость, чтобы они заработали.

*[Мужчине из второго ряда
это кажется не обязательным?
А вы попробуйте —]*

Это тоже похоже на мои стихи.

5. Необходимое пояснение

Так вот, поэзия — не гейзер,
не газировка и не нож,
но если ты её откроешь
(а фигли ты её откроешь),
то ты сперва её уронишь,
потом и сам туда утонешь,
потом, как в мерсе, поплывёшь.

Поэт (а не человек, хотя и человек тоже) всю свою жизнь работает на Избранное.

В этом смысле сборники уже умерших поэтов производят весьма приятное впечатление. Может, потому, что там нет случайных стихов, а значит, есть настоящий, выровненный сюжет. А может, по какой-то другой причине.

Но в любом случае — заметил я недавно — жизнеутверждающие стихи в посмертных публикациях выглядят вообще крайне неубедительно.

6

А я ещё империю любил
(она б любить меня не стала),
но вот когда она пропала —
не по моей вине пропала —
я никого не полюбил.

Я ничего ещё не отдавал:
ни голову, ни родину, ни руку —
ну может быть, какой-то смерти мелкой
[а может быть, какой-то смерти крупной],
я выпустил из рук горячей белкой
(я выронил её купюрой круглой), —
но я по-крупному — не отдавал.

Так пахнет ливнем летняя земля,
я не пойму, чего боялся я:
ну я умру, ну вы умрете,
ну отвернетесь от меня —
какая разница.

Ведь как подумаешь, как непрерывна жизнь:
не перервать её, не отложить —
а всё равно ж — придётся дальше жить.

Но если это так (а это точно так),
из этого всего:
из этой жизни мелкой
[а может быть, из этой жизни крупной],
из языка, запачканного ложью,
ну и, конечно, из меня, меня —
я постараюсь сделать всё, что можно,
но большего не требуй от меня.

7. Ещё одно необходимое пояснение

Как известно, Мандельштам писал о «далёком» читателе. Не знаю, какой уж там читатель, — не видел. Но когда я пишу, то у меня есть две цели, два адреса. О первом я и говорить здесь не собираюсь (это бессовестно), а второй — это вы. Это не значит, что всех вас я тоже вижу. Но это значит, что всех вас я имею в виду.

Впрочем, и здесь есть одна червоточина.

Когда мне хлопают (а я люблю, когда мне хлопают), мне всегда хочется раскинуть руки. Вот так. Только я ни разу этого не делал, потому что боялся.

Но — когда-нибудь — я обещаю вам, — закончив своё последнее стихотворение, я всё-таки скажу себе: АП! — и раскину руки.

8

И последнее.

Я веду за руку свою трёхлетнюю племянницу, Полину. На ней красивое платье и она боится машин.

Я ей говорю: «Ничего не бойся — я же с тобой». Она верит.

Тогда, впадая в педагогический раж, я добавляю:

«А чтобы быть совсем хорошей девочкой, — какать, Поленька, ты все-таки должна на горшок».

Она (яростно и непримиримо): Ни-ког-да.

А чтобы быть
ещё любимей вами
(а это, кстати,
мне всегда хотелось,
но, видно, не сумел я лучше стать) —
так вот,

теперь вниманье, это важно:

я никогда
быть не хотел отважным,
но я хотел —
смешить и ужасать,
смешить и ужасать,
вплоть до могилы.

Но, видно, есть меня сильнее сила.
И мне её придется — испытать.

АП!

ЗАПИСЬ ИЗ ПОТАЙНОГО ДНЕВНИКА (19 мая 2006)

Вот всякий живёт на этом свете, представляется — сам себе — таким бездонным, разнообразным, большим... С такими многими подкладками и карманами... А попробуй собрать на один обычный диск чужие песни, которые ты любишь. Не на МРЗ (это существенно), а на *обычный*, где есть предел, формат (уважай формат), который не превышает 80 минут, а вообще-то их 74 должно быть. (Можно так и со стихами попробовать, что ещё страшнее. Только собирать их придётся в книжку количеством 30 страниц...)

Собери, а потом умри, чтоб эти песни, которых не уместится больше восемнадцати (это я вам гарантирую), хоть *как-то* худо-бедно сказали о тебе что-то... Ну или если не хочешь умирать (вот так уж — всенепреренно), то хотя бы те песни, которые ты мог бы всегда слушать. Что тоже относительно, потому что *всегда* ты их слушать, увы, не сможешь.

И выяснится, что у тебя есть только *два* состояния, *два* цвета, два облака, которыми ты дорожишь.

Лично у меня — синий и чёрный.

Преодоления и отказа.

Однообразно — до рвоты. Ну хорошо — не до рвоты. До тошноты.

Все прочие — смешные песни, грустные, забойные, стильные, вычурные и прочие — как-то летят мимо. Вылетают из списка.

У тебя же только — 80 минут.

И 18 песен (да и то, если обрезать апплодисменты).

И окажется (вдогонку и к тому, как я уже сказал ранее), что слушать это попросту невозможно. Как невозможно, чтоб ты был слишком плотным, сжатым, очищенным. Без передыху, слишком «ты». Не говоря уже о том, что 18 шедевров слушать подряд — дело вообще непосильное и быстро надоедающее.

Вот и приложи это на себя.

И пожалей других.

Которые тебя любили. Или тех, которые и сейчас любят.

Очень рекомендую попробовать.

Узнаете о себе много интересного.

ЗАПИСЬ ИЗ ПОТАЙНОГО ДНЕВНИКА (1 июня 2006)

Стареть — немножко смешно.

Я не очень люблю южные города, но волей-неволей (в детстве, когда мама умерла, и моя мачеха Алевтина Андреевна Козьменко, кубанская казачка, как она любит говорить, вывозила нас с сестрой, а потом и с братом летом на свою неисторическую родину, в Кабардино-Балкарию, под Нальчик, куда когда-то сослали то ли её дедушку, то ли ещё кого) я часто наблюдал такой яркий день, зенит солнца, нестерпимо синее небо, сухой ковыль, щебень, пыль на дороге, какие-то бетонные плиты, некоторое подобие степи. Стрекотали кузнечики.

Такое послеполуденное марево.

И люди, там живущие, тоже были очень похожи на эту картинку: русские нальчане, смешанные горожане, станичники, пасечники, женщины со склада, водители, техническая интеллигенция.

У них были очень крепкие лица.

И им было многое смешно (особенно в каких-то бледномочных москвичах).

И они сами смешно говорили.

(«Ой, да ради боГа», — так мелодично, немного нараспев, через «г»-фригативное, с поднимающейся к концу фразы интонацией.)

И вот эта жара, эта крепкая жизнь мне сейчас вспоминается, когда я говорю слово «зрелость».

И мне тоже смешно.

А больше всего — чужая страсть и чужое желание.

Но оно бывает такое сильное, что глупо как-то высмеивать чужой пыл.

Поэтому говоришь: «Ой, да ради боГа, мне не жалко», — а у самого на губах вот та самая горьковатая смешливая полынная пыль, о которой я говорил выше. И сразу как будто видишь: солнечный зенит, звон от жары в воздухе, нестерпимая синева неба, кузнечики куют (слышно), в сухой траве какие-то бетонные плиты, дальше тоже польнь, ковыль или что там ещё есть — на этом свете, в кармане памяти, в южных губерниях.

ЗАПИСЬ ИЗ ПОТАЙНОГО ДНЕВНИКА (2 августа 2005)

...никогда не узнать (ни с чьей помощью): почему периодически снится бабушка, профессор Александра Васильевна Александрова, которая во сне всё время приезжает из какого-то хосписа (в этот раз у неё даже была какая-то цветочная нестрашная рана на груди, платье в крови, но как я уже сказал, не страшно — привычно, как будто так и нужно).

Приезжает как из дальних странствий или из заграничной поездки, а в её квартире, где уже живу я, всё иначе (да и во сне она вообще какая-то другая, эта квартира). Причем всё время повторяется одно и то же: я сначала радуюсь встрече (хотя бабушка умела портить радость *любой* встречи, за что теперь я её так сильно люблю и вижу в ней что-то очень близкое, похожее, родное), а потом — и это постоянно, именно в такой последовательности — спохватываюсь, что она уже умерла (или я так думал?) и квартира уже моя, и ей негде жить, или негде жить мне, и что же делать. Но бабушка как-то не претендует ни на своё имущество, ни на меня. Она как-то нереально (по сравнению как помнится при жизни) смиренна.

А ещё (это было в этом же сне, но бывает и в других) в той сновидческой топографии есть ещё какая-то квартира, которую я на всякий случай снимаю. Но так и не увидел ещё. Хотя дом, где она есть, существует на московской карте моего сна.

И вот мне снится, что я уезжаю от родителей (это уже другая история, я уехал от них в 25), ссорюсь, думаю, где же мне жить, вспоминаю об этой квартире.

Не помню, есть ли там мебель и постельное бельё (знаю только, что там пахнет тяжелой зеленью и старым комодом, влажным диваном).

Но, думаю, не беда. Всё равно — надо ехать. Наступают сумерки. Я не помню, продлил ли я договор аренды.

Кто-то из друзей хочет меня сопровождать (я же там никогда не был).

Я достаю ключ.

А он — гнилой.



Не страсть страшна, небытие — кошмар.
Мне стыдно, Айзенберг, самим собою быть.
Вот эту кофту мне подельник постирал,
а мог бы тоже, между прочим, жить.

Я быть собою больше не могу:
отдай мне этот воробьиный рай,
трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай
(а если не отдашь — то украду).

Я сам — где одуванчики присели,
где школьники меня хотят убить —
учитывая эту зелень, зелень,
я столько раз был лучше и честнее,
а столько раз счастливей мог бы быть.

Но вот теперь — за май и шарик голубой,
что крутится, вертится, словно больной,
за эту роскошную, пылкую, свежую пыль,
за то, что я никого не любил,
за то, что баб Тату и маму топчу —
я никому ничего не прощу.

Я всё наврал — я только хуже был,
и то, что шариком игрался голубым,
и парк Сокольники, и Язу мою,
которую боюсь, а не люблю, —
не пощади и мне не отдавай
(весь этот воробьиный, страшный рай).
Но пощади — кого-нибудь из них,
таких доверчивых, желанных, заводных.
Но видишь ли, взамен такой растрате
я мало что могу тебе отдати.

Не дай взамен — жить в сумасшедшем доме,
не напиши тюрьмы мне на ладони.
Я очень славы и любви хочу.
Так пусть не будет славы и любви,
а только одуванчики в крови.

О Господи, когда ж я отцвету,
когда я в свитере взбесившемся увяну —
так неужель и впрямь я лучше стану,
как воробей смирившийся в грозу?
Но если — кто-нибудь — всю эту ложь разрушит,
и жизнь полезет, как она была
(как ночью лезут перья из подушек),
каким же лёгким и дырявым стану я,
каким раздавленным, огромным, безоружным.



*Евгению Ш., Соколову, Кукулину
и другим моим друзьям*

Куда ты, Жень, она же нас глотает,
как леденцы, но ей нельзя наесться.
(Гляди, любовниками станем в животе.)
Так много стало у меня пупков и сердца,
что, как цветочками, я сыплюсь в темноте.

Я так умею воздухом дышать,
как уж никто из них дышать не может.
Ты это прочитай, как водится, прохожий,
у самого себя на шарфе прочитай.
Когда ж меня в моём пальто положат —
вот будет рай, подкладочный мой рай.

Я не хочу, чтоб от меня осталось
каких-то триста грамм весенней пыли.
Так для чего друзья меня хвалили,
а улица Стромынкой называлась?

Из-за того, что сам их пылью мог дышать,
а после на ходу сырые цапки рвать —
ботинкам розовым и тем со мною тесно.
Я бил, я лгал, я сам себя любил
(с детсада жил в крови ужасный синий пыл),
но даже здесь мне больше нету места.
Я не хочу в Сокольниках лежать.
Где пустоцветное моё гуляет детство,
меня, как воробья в слюде, не отыскать.

Но вот когда и впрямь я обветшаю —
искусанный, цветной, — то кто же, кто же
посмеет быть, кем был и смею я?
За этот ад — матерчатый, подкожный —
хоть кто-нибудь из вас — прости, прости меня.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Не может быть, чтоб ты такой была:
лгала, жила, под топодем ходила,
весь сахар съела, папу не любила
(теперь — и как зовут меня — забыла),
зато, как молодая, умерла.

Но если вдруг — всё про меня узнала?
(Хотя чего там — углядеть в могиле —
да и вообще: всё про могилы лгут,
то, что в пальто, не может сыпать пылью,
ботинки ноги мёртвому не жмут).

Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрём,
давайте соберёмся и поедем,
мои товарищи, ужасные соседи
(но только если всех туда возьмём) —
в трамвайчике весёлом, голубом.

Сперва помедленней, потом быстрее, быстрее
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо —
трамвай, медведь, голубка, воробей.

Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее
(но зелень пусть бежит ещё быстрее,
она от туч сиреневых в цвету,
она от жалости ещё темнее) —
и мимо праздника и мимо Холидэя
(теперь о нём и думать не могу)
летит трамвай, свалившийся во тьму.

Хотя б меня спаси, я лучше быть хочу
(но почему я так не закричу?),
а впереди — уже Преображенка.
Я жить смогу, я смерти не терплю,
зачем же мне лететь в цветную тьму
с товарищами разного оттенка,
которых я не знал и не люблю.
Но мимо магазина, мимо центра
летит трамвай, вспорхнувший в пустоту.

Так неужель и ты такой была:
звала меня и трусостью поила,
всех предавала, всех подруг сгубила,
но, как и я, краснея, умерла.

Но если так, но если может быть
(а так со мной не могут пошутить),
моих любовников обратно мне верни
(они игрушечные, но они мои, мои!)
и через зелень, пыльную опять
(раз этих книжек мне не написать), —
с ВДНХ — подбрось над головой —
трамвай мой страшный, красный, голубой...

ТРАМВАЙ

Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрём —
мы это не узнаем, не поймём
(ведь умирать так стыдно, так обидно),
зато как зайчики, ужасные соседи,
мы на трамвае золотом поедем.

Сперва помедленней, потом быстреей, быстреей
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо —
трамвай, медведь, голубка, воробей.

Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее
а он, как спичка, чиркнув на мосту
несётся, заведённый в пустоту
(куда и заглянуть теперь не смею),
с конфеткой красной, потной на борту.

Но вот ещё, что я ещё хочу
(хоть это никогда не закричу) —
а позади уже бежит Стромынка:
обидно мне, что, падая во тьму,
я ничего с собою не возьму —
ни синяка, ни сдобы, ни ботинка,
ни Знаменку, ни рынок, ни Москву.

А я люблю Москву — и вот, шатабиду,
я прямо с Пушки в небеса уйду,
с ВДНХ помашет мне Масловский.

Но мой трамвай, он выше всех летит,
а мне всё жаль товарищей моих,
и воробьих, и воробьёв московских.

Ах, если бы и мне ты тоже мог бы дать
на час — музеи все, все шарики отдать,
все праздники, всех белых медведей —
всё, что бывает у других людей
и что в один стишок не затолкать
(ведь даже мне всей правды не сказать), —

тогда, ах если бы (иначе я боюсь),
тогда Барановым и Долиным клянусь:
что без музеев (из последних сил
я в них всегда, как сирота, ходил),
без этих шариков, которые всегда
от нас не улетали никуда —
без них без всех — я упаду во тьму
и никого с собой — не утяну.



Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей —
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, Винстон, кукиш и репей.

О как бы я берёг своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моём кармане),
дома, трамваи, тушки воробьёв.

А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варианты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).

Но почему ж тогда себя так жалко-жалко
и стыдно, что при всех, средь бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь — меня.



Даниле Давыдову

Мне стыдно оттого, что я родился
кричащий, красный, с ужасом — в крови.
Но так меня родители любили,
так вдоволь молоком меня кормили,
и так я этим молоком напился,
что нету мне ни смерти, ни любви.

С тех самых пор мне стало жить легко
(как только тёплое я выпил молоко),
ведь ничего со мною не бывает:
другие носят длинные пальто
(моё несбывшееся, лёгкое мое),
совсем другие в классики играют,
совсем других лелеют и крадут
и даже в землю стылую кладут.

Всё это так, но мне немножко жаль,
что не даны мне счастье и печаль,
но если мне удача выпадает,
и с самого утра летит крупа,
и молоко, кипя или звеня,
во мне, морозное и свежее, играет —
тогда мне нравится, что старость наступает,
хоть нет ни старости, ни страсти для меня.

ИЗ ЧУЖОГО ПИСЬМА

У меня сегодня какой-то пронзительно оглядывающийся день, как будто смотришь назад из сегодняшнего дня, и уже даже не переживая и не пытаясь изменить, а просто отстраненно наблюдая сквозь молочную пелену времени... но почему-то все равно непроходящая, непроходимая тупая боль.

Я обещаю тебе написать... я пишу, хотя осознаю всю твою вероятную ярость, мучаясь от пыток собственного косноязычия и отсутствия времени... Я ничего не знаю, я пишу не о том, что я знаю, а о том, что я ощущаю... и мне страшно это писать...

Я много думаю в последнее время о твоих стихах, нет, не о тех, которые были, хотя и о них я тоже думаю иногда, просто о предназначении, что ли...

Когда я... когда мы стали вместе, я вдруг понял, что отвою тебя у всех, и у стихов, если или — или... мне тогда казалось, что если выбор между любовью и стихами, то я не отдам тебя стихам, хотя сейчас понимаю, что стихи — это тот же свет, в котором ты собираешься растворяться, тот же свет, который и любовь, а следовательно, не может быть противопоставления.

Вчера ты говорил, что тебе жалко тех, которые ну, с неразделённой любовью. А мне вот не жаль. Что они знают о том, что значить БЫТЬ С ТОБОЙ, с твоей яростью, с этой яркостью и такой расплавленностью. С твоим даром, с твоей китайской лисичьей детской жестокостью. Им куда спокойнее: удобно любить тебя на расстоянии.

Так вот. Я в последнее время много думаю о том, что ты должен писать стихи, что для тебя это естественно и необходимо. К тому же иначе ты начинаешь разрушать мир. И меня — рядом с тобой.

Ты пойми меня правильно, меньше всего я хочу появляться в твоих стихах... я вообще не хочу никаких проявлений, и в твоей общественной жизни тоже... я сознательно не хочу вообще никаких souvenirs'ов... никакой памяти, вообще хочу быть бестелесным духом, чисто энергетическим чем-то...

Энергия, творчество, любовь, любые энергетические вещи — как те ямки, выкопанные в песке на берегу моря, которые, если из них вычерпывать воду, набираются заново, а если нет, остаются с тем же количеством воды.

Возможно, всё вышенаписанное — бред... и я это осознаю...

Здравствуй, любовь моя...

Как ты?

ЛИЧНАЯ ЗАПИСЬ ИЗ ПОТАЙНОГО ДНЕВНИКА (май 2006)

Ты стелешь постель по-военному: просто и без воображения. Ровно. Стрелка к стрелке. Покрывало сложено вверх, с запахом. Так же и разбираешь. Собственно, все люди, которых я любил, стелили постель одинаково: девичьи узкие кушетки, по-солдатски ровные койки. И только моя кровать — как лисья нора, где разодрали лебедя или утку. Вся белая, на весу. Собственно, этим я всё пытаюсь пересказать немудрящую китайскую мысль: что есть герои, войны, а есть бегущие по весенней пашне хвостатые оборотни. Вот только мысль мне эта никак не дается. Как крикливая, слишком вертлявая утка. (Видно, жить очень хочет.)



.....
.....
.....
.....
.....

Так дымно здесь
и свет невыносимый,
что даже рук своих не различить —
кто хочет жить так, чтобы быть любимым?
Я — жить хочу, так чтобы быть любимым!
Ну так как ты — вообще не стоит — жить.

А я вот всё живу — как будто там внутри
не этот — как его — не будущий Альцгеймер,
не этой смерти пухнувший комочек,
не костный мозг
и не подкожный жир,
а так, как будто там какой-то жар цветочный,
цветочный жар, подтаявший пломбир,

а так, как будто там какой-то ад пчелиный,
который не залить, не зализать...
Алё, кто хочет знать, как жить, чтоб быть любимым?
Ну чё молчим? Никто не хочет знать?

Вот так и мне не то чтоб неприятно,
что лично я так долго шёл на свет,
на этот свет и звук невероятный,
к чему-то там, чего на свете нет,

вот так и мне не то чтобы противно,
что тот, любой другой, кто вслед за мною шёл,
на этот звук, на этот блеск пчелиный,
на этот отсвет — все ж таки дошёл,

а то, что мне — и по какому праву —
так по хозяйски здесь привыкшему стоять,
впервые кажется, что так стоять не надо.
Вы понимаете, что я хочу сказать?

Огромный куст, сверкающий репейник,
который даже в джинсы не зашить —
последний хруст, спадающий ошейник —
что там ещё, с чем это всё сравнить?

Так пусть — гудящий шар до полного распада,
в который раз качнётся на краю...
Кто здесь сказал, что здесь стоять не надо?
Я — здесь сказал, что здесь стоять не надо?
Ну да, сказал — а всё ещё стою.

Так жить, чтоб быть
ненужным и свободным,
ничейным, лишним, рыхлым, как земля —
а кто так сможет жить?
Да кто угодно,
и как угодно — но не я, не я.



Вот так всё время ощущаешь жизнь,
она в тебе и под ногтями,
она гремит в тебе костями,
а ты лежишь в её кармане,
как тварь последняя дрожишь.

А я глаза закрыл
и головой мотаю,
но всё равно зелёный весь от страха.
Я, между прочим, умереть могу.

Так вот зачем
меня ты, боже, лупишь:
ему приспичило, ему приятней,
когда я сам, как голая скворечня,
как будто муравейник раскурочен
иль как *жевачка* липну к утюгу.

Естественно, что так оно и нужно.
По-видимому, это даже лестно.
Но я чего-то не пойму:
в поту,
в пальто,
в постели,
на ветру
(мне в самом деле это интересно) —
окрепший, взрослый, маленький, умерший —
хотя бы раз я нравился — Ему?



Так неужели
я никогда не посмею
*(а кто, собственно,
может мне здесь запретить,
уж не вы ли, мои драгоценные,
уж не вы ли) —*

признаться:

ну были они в моей жизни, были,
эти приступы счастья,
эти столбики солнца и пыли
*(все стояли
со мной в золотистой пыли),*

и все, кто любили меня,
и все, кто меня не любили,
и кто никогда-никогда не любили —
ушли.



Но — мне — не нравится
так поступать с тобой:
о, как ужасна жизнь мужского пола —
ты всё ещё, — а я уже живой,
ты всё как девочка, — а я уже тяжёлый
(неповторимый, ласковый, тупой,
бессмысленный, ореховый, сосновый),
самоуверенный, как завуч средней школы, —
нет, выпускник — лесной воскресной — школы,
её закончивший — с медалью золотой.

Любая женщина — как свежая могила:
из снов, из родственников,
сладкого, детей...
Прости её. Она тебя любила.
А ты кормил — здоровых лебедей.

Но *детским призракам* (я это точно знаю) —
не достучаться им —
до умного — меня...
А ты — их *слышишь* — тёплая, тупая,
непоправимая — как клумба, польня.

Стихотворение — простое, как объятье —
гогочет, но не может говорить.
Но у мужчин — *зато* —
есть вечное занятие:
жён, *как детей*, — из мрака — выводить.

И каждый год — *крикливым, птичьим* торгом
я занимаюсь в их — живой — груди:
ту женщину,
наевшуюся торгом,
от мук, пожалуйста, — *избавь и огради!*

Все стихтворения —
как руки, как объятья.
(...от пуха, перьев их — прикрой меня — *двумя!*)
Да, у мужчин — *другие* есть занятия,
но нет других — *стихотворений* — у меня.

...Ты мне протягиваешь — руку на удачу,
а я тебе — дырявых лебедей.
Прости меня.
Я *не пишу*, я плачу —
над бедной-бедной — *девочкой* — моей...

ЛУЧШИЙ АВТОЭПИГРАФ — ПОСЛЕДНИЙ АВТОЭПИГРАФ

Pokljanis' — chto marketing, tabu, sexual'nost',
prava cheloveka,
gospodin prezident,
zhurnaly, gazety, TV —
t. e. vsjo to chto nashe
i chto ot tebja ne zavisit —
vsjo eto tozhe tebe interesno.
Клянусь, но — однако...

О, я никогда не забуду
(даже если буду стараться,
а я буду очень стараться),
что все эти яркие дни,
и всё, что осталось,
и всё, что пыталось остаться,
эта мякоть моя,
моя ненаглядная мягкость,
этот правильный голос
и голос шершавый — мой.



Вся моя пресловутая искренность —
от нежелания подыскивать
тему для разговора.
Раньше — в подобных случаях —
я сразу ложился в постель.
Теперь — говорю правду.
Хорошо это, плохо, —
не мне судить.

Но людям — ПРАВИТСЯ.

Я не кормил — с руки — литературу,
её бесстыжих и стыдливых птиц.
Я расписал себя — как партитуру
желёз, ушибов, запахов, ресниц.

Как куст — в луче прожектора кромешном —
осенний, — я изрядно видел тут,
откуда — шапками — растут стихотворенья
(а многие — вглубь шапками растут).

Я разыграл себя — как карту, как спектакль
зерна в кармане, — и — что выше сил! —
(*нет, не моих!* — моих на много хватит) —
я раскроил себя — как ткань, как шёлк, как штапель
(однажды даже череп раскроил).

Я раскроил, а ты меня заштопал,
так просто — наизнанку, напоказ, —
чтоб легче — было — жить,
чтоб жизнь была — по росту,
на вырост — значит ровень, в самый раз!

Я превратил себя —
в паршивую канистру,
в бикфордов шнур, в бандитский Петербург.

Я заказал себя — как столик, как убийство, —
но как-то — слишком громко, чересчур.

Я — чересчур, а ты меня — поправишь:
как позвонок жемчужный —новишь,
где было слишком много — там убавишь,
где было слишком мало — там прибавишь.
Но главное — *отпустишь* и *оставишь*
(меня, меня! — отпустишь и оставишь),

не выхватишь, —
не станешь! — не простишь...



Как шрам — любовь — под бровью от стакана,
как след — любовь — на пальце от ожога,
всегда всего мне было *мало, мало*,
а оказалось — слишком *много, много*.

Но я клянусь, что в жизни листопада
я не искал любви (я даже сил не тратил),
но я искал — защиты и пощады,
а находил — ещё — *одно* — объятье.

Жизнь, ты — которая так часто пахнет кровью,
жизнь, *ты*, которая со мной пила украдкой,
ну не было — с тобой нам — больно, больно,
а было нам с тобой — так сладко, сладко.

Всё начиналось — зябко и проточно,
а продолжалось — грубо и наглядно,
а кончилось — так *яростно*, так *мощно*,
так беспощадно.



Опять сентябрь, как будто лошадь дышит,
и там — в саду — солдатики стоят,
и яблоко летит — и это слышно,
и стуки, как лопаты, говорят.

Ни с кем не смог
ни свыкнуться, ни сжиться —
уйдут, умрут, уедут, отгорят —
а то, что там, в твоём мозгу стучится,
так это просто яблоки стучат.

И то, что здесь
сейчас так много солнца,
и то, что ты в своей земле лежишь,
надеюсь, что кого-нибудь коснётся.
Надеюсь, вас. Но всех не поразишь.

А раз не важно всем,
что мне ещё придётся,
а мне действительно ещё придётся быть
сначала яблоком, потом уже травой —
так мне не важно знать: ни то, что будет мною,
ни то, что мной уже не сможет — быть.

А что уж там во мне *рвалось и пело*,
и то, что я теперь *пою и рвусь*,
так это всё моё (сугубо) дело,
и я уж как-нибудь с собою разберусь.

Смирюсь ли я, сорвусь ли, оскудею
или попробую другим путём устать,
я всё равно всегда прожить сумею,
я всё равно всегда посмею стать.

Но — что касается других:
всех тех, которых нет,
которых не было,
которых много было —
то если больно им
глядеть на этот свет
и если это важно вам — спасибо.



Сначала я стал просыпаться и каждое утро думать,
что вот ещё 5 или 6 лет
и можно махнуть на себя рукой,
потом я ходил по гудящей осенней земле
и думал: «Господи, сколько на свете яблок»,
потом — я вообще ни о чем не думал...

а потом я увидел тебя.



Сам себе я ад и рай, и волк, и заяц чёрный.
Не пестро ли этим синим глазкам?
Не пестро — он говорит — не больно,
не больно — скромный говорит — и не думай.
Сам же вертится, как чёрт белокурый,
так и я вертелся, когда под Пасху
поселиться во мне пришли лисица,
петух и кот, кот и петух, кот и лисица.
Уж и гнули они меня, и лапами били сухими,
но зато теперь никто меня не покинет.

Ни петух, ни кот, ни заяц, ни волк нетленный,
ни петух, ни кот, ни лиса Андревна.

Ах ты, лисонька-лиса, блядская морда,
ах ты, петушок, пидерас, весёлая тушка,
ах ты, волк-щелкун, ах ты, заяц ушлый,
ах ты, кот-певун, дюже умный, гордый —
были вы мне женою, сестрою и мужем.

Ой ли, ай ли! — пошёл я кофий пить в своём безумье,
и вдруг котофей Гога исчез, загордясь грудью,
и зачем он, приبلуда, исчез или умер совсем — не знаю,
но кота такого уже у меня не будет.

Но зато остались у меня лиса да петел,
волк да заяц, заяц да волк, лиса да Петя.

Ах ты, лисонька-лиса, блядская морда,
ах ты, петушок, орун, весёлая тушка,
ах ты, волк-щелкун, ах ты, заяц — пушная торба,
.....
были вы мне женою, сыном и мужем.

Эх да ух! Поймали лису бабы,
любо, люто их глазу сверкала шкурка,
уж любили они её нежно, дупили слабо.
Хороша получилась у бабы одной шубка.

Но зато остались у меня петел Петя,
волк да заяц, заяц да волк, волк да петел.

.....
Ах ты, петушок Петрович, весёлая тушка,
ах ты, волк, горечь моя, ах ты, заяц чёрный,
.....
были вы мне женой и мужем.

Мама, мама! поймали фашисты Петю,
оторвали хвост его многоцветный, угрюмый гребень
(я глядел, убогий, тогда в бинокль),
а в апреле кто там сидит на небе,
если так отобрали, убили коку.
Но зато остались у меня волк да заяц,
волк да заяц, заяц да волк, волк да заяц.

.....
.....
Ах ты, волк последний, ах ты, заяц последний
.....
были вы мне кем-то и кем-то.

Скоро, скоро придут и за мной и возьмут руку,
и возьмут ногу мою, и возьмут губы,
даже синие глазки твои у меня отнимут,
всё возьмут — только волчью и заячью муку
не отнять им, ибо терпеть убыль,
а они не хотят ни терпеть, ни гибнуть.

Ибо скоро конец голубой и быстрый,
ультракрасный и медленный, будто карри,

будет волк рычать, будет заяц биться,
будет масло пускать золотые искры,
будут ждать меня многоумные твари,
будут плавать в уме, как в лазури, лица:
кот и петух, петух и лисица.



Но я ещё прижмусь к тебе — спиной,
и в этой — белой, смуглой — колыбели —
я, тот, который — *всех сильнее* — с тобой,
я — стану — *всех печальней* и слабее...

А ты гордись, что в наши времена —
горчайших яблок, поздних подозрений —
тебе достался целый мир, и я,
и густо-розовый
безвременник осенний.

Я развернусь лицом к тебе — опять,
и — *полный нежности, тревоги и печали* —
скажу: «Не знали мы,
что значит — погибать,
не знали мы, а вот теперь — узнали».

И я скажу: «За эти времена,
за гулкость яблок и за вкус утраты —
не как любовника —
(как мать, как дочь, сестра!) —
как *современника* — утешь меня, *как брата*».

И я скажу тебе,
что я тебя — люблю,
и я скажу тебе, что ты — моё спасенье,
что мы погибли (*я понятно — говорю?*),
но — сдерживали — гибель — как умели.

ЗАПИСЬ ИЗ ПОТАЙНОГО ДНЕВНИКА (15 апреля 2006)

...из всех запахов прошлого (ну для меня, по крайней мере) выно-сим только запах детства, которое трактуется расширительно.

Всё остальное — маловыносимо. Воспоминание о запахе кварти-ры, где у тебя было первое свидание, мучителен. Его хочется забыть. Свежий запах чужой любовной простыни — тоже. *(Бедный, что же ему всё мучительно-то? — может спросить добрый соглядатай.)*

А вот и не всё, — отвечу. Однако пока перечислю ещё нелюбимое: как пахнет квартира родственников по воспоминаниям (особенно тех, кто уже умерли), как пахнет машина человека, в которого мы были влюблены. Даже как пахнут старые книги — и то неприятно.

И только запах газа (в кухне, где есть газовая плита, потому что такая была у меня, в моём том доме, в той квартире, до 16 лет), запах мастики, школьного коридора, а также крапивы у забора, черёму-хи, сирени плюс вся прочая дачная ерунда, первые мелкие листья, нежно-салатная хрень, апрельская пухлая мелкая душистая сволочь, которая, впрочем, лучше описана не мной.

Кстати, интересно, что Чехова после его «Вишневого сада» неко-торые критики упрекали в том, что старый вишневый сад Раневской маловероятен: для традиционной усадьбы такой «монофрукто-вый» сад был совершенно нехарактерен. Как правило, в русских садах рубежа веков высаживалось сбалансированное количество разных фруктовых деревьев.

Ответный ход Чехова вызывает у меня восхищение. В Мелихове он специально посадил возле дома около тысячи вишен, создав тем самым тот несуществующий сад. «Чтоб вам всем повылазило», — наверное, думал Чехов, считая свои невозможные вишни.

Я бы поступил точно так же.

— Его *нет*? Значит он там БУДЕТ.

ЗАПИСЬ ИЗ ПОТАЙНОГО ДНЕВНИКА
(21 мая 2006 ГОДА)

Я тут недавно вспомнил: как сам со смехом говорил своему помощнику, литературному секретарю Роме Бр, что мне нетрудно писать прозаические тексты, да вот только стыдно.

Ибо внимательному читателю через какое-то время бросится в глаза их основополагающий принцип.

А именно... На каждый абзац там обязательно придется, выпадет три повторяющихся эпитета (которые можно ставить почти не задумываясь, вот это и будет «долгожданный воденников»): **ЦВЕТУЩИЙ, НЕБЕСНЫЙ, БЕССМЕРТНЫЙ.**

Я хочу этого избежать, но не могу: что-то всё мне не нравится, не ладится, не летит.

И вдруг — смотрю: получилось.

Перечитываю текст, а там: ...бессмертный, небесный, цветущий.

Это — выше меня.



Ну так здравствуй,
моя дорогая тупая черешня!
Я ведь раньше не думал,
что мой возмутительный прах —
это родины прах.
(...этот яростный, сливочный, нежный...)

Он, как ветер, весной —
Застревает в цветных волосах.



Землёю пахла, воздухом пылила,
а выпила меня и отпустила
(ну вот и пусть сама в земле лежит).
У молодости безобразный вид,
когда она уже остыла.

Да и без нас уже напичкана по горло
земля, как курица, но вот приснилось мне,
что мой отец (точнее, папа) умер
и на прощанье — озверел во мне.

Как колобок, вертящийся, паскудный,
всё прыг да скок по венам и рукам,
а мне вдруг кажется, что я его забуду,
а мне вдруг кажется, что я его отдам.

И как ни гадок мне его затылок,
но я хочу его схватить — и не могу,
и он летит, как розовый обмылок,
выскальзывая с криком в темноту.

Вот так и я уйду (и на здоровье),
и ты уйдёшь — провалишься к цветам,
но всё равно всей невозможной кожей
услышу я (и ты услышишь тоже):
Я тебя никогда не забуду, о боже, боже.
Я тебя всё равно никогда никому не отдам.
Я ведь знаю, что вроде любил, любил меня кто-то из вас,
но вот что интересно — о, Боже мой, Боже, — отвсюду:
из всех, из цветных, из цветочных, распахнутых каш —
я-то тебя никогда-никогда не забуду,
ты же меня — никогда никому не отдашь.

*Я говорю —
из такой очевидной пурги,
из черешен таких, из такого расцветшего чуда:
господи, боже ты мой, я тебе никогда не забуду
ни поганую мякоть мою, ни шершавые руки — твои.*

Но зато — по молочной реке,
по кисельным твоим берегам,
убираясь в зелёный подвал
под цветную весеннюю грудку —
так как я под тобою, никто никогда не лежал.
Я тебя всё равно, всё равно никогда не забуду.



*полстолетья спустя
без посвященья*

1

И ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ТВОЯ ВСЮ ЖИЗНЬ СТОЙМЯ СТОЯЛА
ОДНИМ УПРУГИМ И ЦВЕТУЩИМ КУБОМ
И ЧТОБЫ ВСЁ ЭТО ТВОЕЙ МОГИЛОЙ СТАЛО,
НО ТОЛЬКО Я ТВОЕЙ МОГИЛОЙ БУДУ.

2

Это я —
в середине весны, в твёрдой памяти, в трезвом уме,
через головы всех,
из сухого бумажного ада —
это я — так свободно —
к тебе обращаюсь,
к тебе,
от которого мне — ничего, кроме жажды, не надо.

3

Потому что сейчас —
через почки и глыбы идя,
из-под почек и глыб — я сейчас так отчётливо знаю,
что из всех претендентов
ты всё ж таки выбрал — меня,
потому что я старше тебя и себя защищать не желаю.

4

Это *ты* полстолетья спустя —
ты с меня соскребёшь эту ложь
и возьмёшь,
как тюльпан, как подростка, за мою лебединую шею.

*Только что ж ты так долго,
так долго навстречу идёшь,
только что ж это я —
так безропотно — ждать не умею.*

5

О, как тужатся почки в своём воспалённом гробу,
как бесстыже они напряглись, как набухли в мохнатых
могилах —
чтобы сделать всё то, чего я — *не хочу, не могу,
не желаю, не буду,
не стану, не должен,
не в силах.*

6

Но зато я способен бесплатно тебе показать
(всё равно ведь уже
никуда не сдрыснуть и не деться),
как *действительно* надо — навстречу любви прорасти,
как *действительно* надо — всей жизнью — цвести
и вертеться.

...За одну только ночь, в преждевременном взрыве листвы,
всё так жадно рванулось — с цепи,
всё так жарко — в цвету — пламенеет.

*Вот и я —
отпускаю тебя — из прохладной своей пустоты,
потому что никто (даже я) на тебя этих прав —
не имеет.*

7

И не важно, что, может быть, я
всё, что есть у меня, — отпускаю.

Эта жизнь и могила — твоя.
Золотая она, золотая.

ТАК ВОТ ВО ЧТО СТВОРОЖИЛАСЬ ЛЮБОВЬ

Так вот во что створожилась любовь:
сначала ела, пела, говорила,
потом, как рыба снулая, застыла,
а раньше — как животное рвалось.

А кто-нибудь — проснётся поутру,
как яблоня — в неистовом цветенье,
с одним сплошным, цветным стихотвореньем,
с огромным стихтворением — во рту.

И мы — проснёмся, на чужих руках,
и быть желанными друг другу поклянемся,
и — как влюблённые — в последний раз упрёмся —
цветочным ржаньем — в собственных гробах.

И я — проснусь, я всё ж таки проснусь,
цветным чудовищем, конём твоим железным,
и даже там, где рваться бесполезно,
я всё равно в который раз — рванусь.

Как все, как все — неоспоримой кровью,
как все — своих не зная берегов,
сырой землю и земной любовью,
как яблоня — набитый до краев.



За нестерпимый блеск чужого бытия,
за кость мою, не ставшую сиренью,
из силы — славы —
слабости — забвенья,
за вас за всех — я голосую: за.

Так пусть же будет жизнь благословенна:
как свежемая рубашка — на ветру,
как эта девочка — которая нетленна,
как эти мальчики, которые — в цвету.

Когда мы все — как школьники вставали
в восторге, в дружбе, в бешенстве, в любви,
мы тоже ничего не обещали
и тоже дали больше, чем могли.

Из всех смертей, от всех земных насилий,
двумя подошвами, сведёнными в одну,
мы были — этим бешенством, мы — были
сырой сиренью, прыгнувшей — в весну.

О, знал бы я, как жизнь самозабвенно
всей свежесмытой рубашкой на плацу,
всей этой веткой — с переполненной сиренью,
меня — за всё это — ударит по лицу.

Но я хочу, *я требую* — чтоб следом
за мной, наевшимся, мной, благодарным, — шли,
вы, сделавшие нас — *своей победой*,
вы — даже не хлебнувшие — земли.

Из всех смертей, от всех земных насилий,
двумя подошвами, цветущими во тьму,
одним неопытным, одним мужским усилием
вы тоже, тоже — прыгнете — в весну.

*И пусть тогда — как все, нарядным тленом
я стану сам — в сиреновом ряду,
но эта девочка останется — нетленна,
а эти мальчики — живыми — и в цвету.*



Эти ягоды слаще, чем все поцелуи твои,
и твои, и твои, и твои.
Ну и хватит об этом,
Дай мне ягоду эту — в твоей и моей крови.
Слаще ягоды этой — поганой — на свете нету.

Я с детства сладок был настолько, что меня
от самого себя, как от вина, тошнило,
а это — просто бог кусал меня,
а это — просто жизнь со мной дружила.

Уже — всей сладостью, всей горечью — тогда
я понимал, что я никем не буду,
а этой мелочью, снимаемой с куста,
а этой формой *самого* куста
а этой ягодой блаженной — буду, буду.

Цветочным грузом — в чьих-нибудь руках,
отягощённый нежностью и силой,
я утром просыпался в синяках,
но это бог — жевал меня впотьмах,
но это просто — жизнь меня любила.

Так — в лихорадках каждого куста,
обсыпанного розоватой сыпью,
я узнавал и вспоминал себя:
ты — заразил меня, *ты* — наказал меня,
ты — этой мелочью бессмысленной — рассыпал.

Я знаю, что я временно живу,
но ради этих — белых, синих, алых,
так мало давших сердцу и уму, —
о нет, пожалуйста, не начинай сначала.

Пусть *эта книга*, пусть — *она* — стоит,
вся в горьких ягодах, вся в вмятинах уродства,
смотри, смотри, — она сейчас прольётся
прощальным ливнем ягод и обид.

О, дай же мне — таким же светлым днём
всей этой сладостью и горечью напиться,
стать этой гущей ягод — а потом
перевалиться на твою страницу
цветочным ливнем, ягодным дождём.

И больше — *никогда* — не повториться.
Нигде — *ни с кем* — *никак* — *не повториться*,
ни там, ни здесь,
ни дальше — *ни потом*.

ПРОЩАЯСЬ — ГРУБО, ДЛИТЕЛЬНО, С ЛЮБОВЬЮ

Ну что — опять? —
(в последний раз?) цветком горячим в мыле,
как лошадь загнанная, вздрагивать во сне? —
да все всё поняли уже, всё — уяснили,
а ты — всё о себе да о себе.

Будь — навсегда — цветком горячим в мыле,
будь — этой лошастью, запрыгнувшей в себя,
тогда своей рукой,
своей ладонью сильной
мне легче будет *вытянуть* — тебя.

Да, сладко жить, да, страшно жить, да, трудно,
но *ты зажмуришься*:
в прощальной синеве
сирень и яблоня, обнявшиеся крупно,
как я, заступятся, за младшего — в тебе.

И родина придёт с тобой прощаться,
цветочным запахом нахлынув на тебя.
Я столько раз не мог с земли подняться,
что, разумеется, она уже — моя.

*Я говорю — а мне никто не верит,
так сколько — остаётся —
нам вдвоём
ещё стоять — в моём — тупом сиротстве,
в благоуханном одиночестве — твоём?*

Прощаясь — грубо, с нежностью, с любовью,
я не унижу, господи, Тебя
ни этим «всё», ни этим «нет — довольно».
Я — тот цветок, которому не больно.
Я — эта лошадь, господи, Твоя.

Я обязательно оставлю всё как было,
чтобы Тебе — в конце — на склоне дня —
Тебе — *твоей* рукой,
твоей ладонью — мыльной —
сподручней было бы *вытягивать* — меня.

И очень может быть —
не письменным и устным —
но может быть, ты вытянешь меня
совсем другим — не ярким и не вкусным,
и все поверят мне, и все — простят меня.

А может быть (при всём моём желанье),
всем корнем — зацепившийся опять —
я *захлебнусь* — своим прощальным ржаньем,
я тоже — не умею — умирать.

Но в этот краткий миг,
за этот взрыв минутный
(так одинок, что некому отдать
все прозвища, названия, клички, буквы) —
я *всё скажу*, что я хотел сказать.

Спасибо, господи, за яблоню — уверен:
из всех стихотворений и людей
(ну за единственным, пожалуй, исключением) —
меня никто не прижимал сильнеей.

*Зато — с другим рывком,
в блаженном издыханье,
всё потеряв, что можно потерять:
пол, имя, возраст, родину, сознание —
я всё — забыл, что я хотел сказать.*

И мне не нужно знать
(но за какие муки,
но за какие силы и слова!) —
откуда — этот свет, летящий прямо в руки,
весь этот свет — летящий *прямо в руки*,
вся эта яблоня, вся эта — синева...

СОДЕРЖАНИЕ

Черновик	6
Единственное стихотворение 2005 года	10
«Мужает голос и грубеет тело...»	12
«...Мама! и как так случилось...»	13
Шиповник	16
«...ты мне приснилась постаревшей...»	17
Шиповник — распадающийся на части	19
«В тот год, когда мы жили на земле...»	21
Шиповник Forever	22
Четвёртое дыхание	24
Запись из потайного дневника (21 мая 2006 года)	29
«Поеду в рай — где розово и сине...»	30
«Вот бес подьёмлется любить...»	31
«Коль выгнали тебя, ступай отседа, Коль...»	32
«Ах, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает...»	34
«Ты не забудь меня, козёл рогатый...»	36
«Было горло красненьким, голодным, прогорклым...»	38
«Зачем вы убили Савву моего, Савву...»	40
Репейник	42
Эссе и выбранные стихотворения	44
Запись из потайного дневника (19 мая 2006)	49
Запись из потайного дневника (1 июня 2006)	50
Запись из потайного дневника (2 августа 2005)	51
«Я быть собою больше не могу...»	52
«Куда ты, Жень, она же нас глотает...»	54
Приглашение к путешествию	56
Трамвай	58
«Когда бы я как Тютчев жил на свете...»	60
«Мне стыдно оттого, что я родился...»	61
Из чужого письма	62
Личная запись из потайного дневника (май 2006)	63
«Так дымно здесь...»	64
«А я глаза закрыл...»	66
«Так неужели я никогда не посмею...»	67
«Любая женщина — как свежая могила...»	68
Лучший автоэпиграф — последний автоэпиграф	70
«Я не кормил — с руки — литературу...»	71

«Как шрам — любовь — под бровью от стакана...»	73
«Опять сентябрь, как будто лошадь дышит...»	74
«Сначала я стал просыпаться и каждое утро думать...»	76
«Сам себе я ад и рай, и волк, и заяц чёрный...»	77
«Но я ещё прижмусь к тебе — спиной...»	80
Запись из потайного дневника (15 апреля 2006).....	81
Запись из потайного дневника (21 мая 2006 года)	82
«Ну так здравствуй, моя дорогая тупая черешня...»	83
«Землёю пахла, воздухом пылила...»	84
«И чтобы жизнь твоя всю жизнь стоймя стояла...»	86
Так вот во что створожилась любовь	89
«Так пусть же будет жизнь благословенна...»	90
«Я с детства сладок был настолько, что меня...»	92
Прощаясь — грубо, длительно, с любовью	94

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ «АВТОГРАФ» ИЗДАНЫ:

- Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- С. Кекова.** Короткие письма
- В. Салимон.** Невеселое солнце
- И. Лиснянская.** После всего
- Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- Н. Кононов.** Лепет
- А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- С. Гандлевский.** Праздник
- В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- В. Дроздов.** Стихотворения
- Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- А. Цветков.** Стихотворения
- Д. Новиков.** Караоке
- И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- Т. Кибиров.** Парафразис
- Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- В. Салимон.** Красная Москва
- В. Зельченко.** Войско
- Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- А. Битов.** В четверг после дождя
- Л. Лосев.** Послесловие
- И. Лиснянская.** Ветер покоя
- В. Гандельсман.** Долгота дня
- Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- Т. Кибиров.** Интимная лирика
- В. Павлова.** Второй язык
- В. Кривулин.** Купание в иордани
- М. Ерёмин.** Стихотворения
- Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- Д. Новиков.** Самопал
- Т. Кибиров.** Нотации
- В. Соснора.** Куда пошел? И где окно?
- С. Гандлевский.** Конспект
- Б. Рыжий.** И всё такое...

П. Барскова. Эвридей и Орфика
И. Лиснянская. Музыка и берег
Л. Лосев. Sisyphus redux
В. Дроздов. Обратная перспектива
Т. Кибиров. Amour, exil...
В. Соснора. Флейта и прозаизмы
В. Гандельсман. Тихое пальто
В. Павлова. Линия отрыва
В. Коваль. Участок с Полифемом
Е. Шварц. Дикопись последнего времени
Б. Ахмадулина. Пуговица в китайской чашке
А. Поляков. Орфографический минимум
Б. Рыжий. На холодном ветру
В. Соснора. Двери закрываются
С. Кекова. На семи холмах
П. Барскова Арии
М. Степанова. Тут — свет
М. Ерёмин. Стихотворения. Кн.2
С. Стратановский. Рядом с Чечней
А. Кушнер. Кустарник
Е. Тиновская. Красавица и птица
Т. Кибиров. Шалтай-болтай
В. Гандельсман. Новые рифмы
О. Чухонцев. Фифиа
Л. Лосев. Как я сказал
Е. Шварц. Трость скорописца
Д. Шереметьев. Улика
В. Гандельсман. Школьный вальс
С. Стратановский. На реке непрозрачной
М. Ерёмин. Стихотворения. Кн.3
А. Цветков. Шекспир отдыхает
В. Волченко. Без охраны
Д. Воденников. Черновик

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг обращайтесь в издательство по адресу:
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».
Информация по телефону: (812) 273-37-24 факс: (812) 273-52-56

В 62

Воденников Д.

Черновик: Книга стихотворений. — СПб.: «Пушкинский фонд», 2006. — 100 с.

ISBN 5-89803-147-2

ББК 84. Р7

Воденников Дмитрий Борисович

Черновик

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2006

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

ПУШКИНСКИЙ ФОНД